

В тумане (Андреев)

Материал из Викитеки — свободной библиотеки

Перейти к: [навигация](#), [поиск](#)

← [Иностранец](#) **В тумане** автор *Леонид Николаевич Андреев* (1871—1919) [Бездна](#) →

Дата создания: лето 1902^[1], опубли.: декабрь 1902^[2]. Источник: [Библиотека Максима Мошкова](#)

▫ [Одноименные страницы](#)

Википроекты: ▫ [Википедия](#) ▫ [Данные](#)

В тот день с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легкий и прозрачен, он не закрывал предметов, но всё, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и темно и четко. К югу, где за пологом туч пряталось ноябрьское низкое солнце, небо было светло, светлее земли, а к северу оно спускалось широкой, ровно темнеющей завесой и у самой земли становилось изжелта-черным и непрозрачным, как ночью. На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником. И клумбы в этом саду были взрыты и истоптаны грубыми ногами, и на сломанных стеблях тихо умирали в тумане запоздалые болезненно-яркие цветы.

И сколько ни было людей на улицах, всё торопились, и всё были сумрачны и молчаливы. Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задышавшийся в желтом тумане.

В столовой уже пробило двенадцать часов, потом коротко отбило половину первого, а в комнате Павла Рыбакова было темно, как в сумерках, и на всем лежал отраженный, исчерна-желтый отсвет. От него желтели, как старая слоновая кость, тетради и бумаги, разбросанные по столу, и нерешенная алгебраическая задача на одной из них со своими ясными цифрами и загадочными буквами смотрела так старо, так заброшенно и ненужно, как будто много скучных лет пронеслось над нею; желтело от него и лицо Павла, лежавшего на кровати. Крепкие, молодые руки его были закинута за голову и обнажились почти до локтя; раскрытая книжка, корешком вверх, лежала на груди, и темные глаза упорно глядели в лепной раскрашенный потолок. В пестроте и грязных тонах его окраски было что-то скучное, надоедливое и безвкусное, напоминавшее о десятках людей, которые жили в этой квартире до Рыбаковых, спали, говорили, думали, делали что-то свое — и на всё наложили свою чуждую печать. И эти люди напоминали Павлу о сотнях других людей, об учителях и товарищах, о шумных и людных улицах, по которым ходят женщины, и о том — самом для него тяжелом и страшном, — о чем хочется забыть и не думать.

— Скучно... Ску-у-чно! — протяжно говорит Павел, закрывает глаза и вытягивается так, что носки сапог касаются железных прутьев кровати. Углы густых бровей его скосились, и всё лицо передернула гримаса боли и отвращения, странно исказив и обезобразив его черты; когда морщины разгладились, видно стало, что лицо его молодо и красиво. И особенно красивы были смелые очертания пухлых губ, и то, что над ними по-юношески не было усов, делало их чистыми и милыми, как у молоденькой девушки.

Но лежать с закрытыми глазами и видеть в темноте закрытых век всё то ужасное, о чем хочется забыть навсегда, было еще мучительнее, и глаза Павла с силою открылись. От их растерянного блеска в лице его появилось что-то старческое и тревожное.

— Бедный я малый! Бедный я малый! — вслух пожалел он себя и повернул глаза к окну, жадно ища света. Но его нет, и желтый сумрак настойчиво ползет в окна, разливается по комнате и так ясно ощутим, как будто его можно осязать пальцами. И снова перед глазами развернулся в высоте потолок.

Карниз потолка был лепной и изображал русское село: углом вперед стояла хата, каких никогда не бывает в действительности; рядом застыл мужик с приподнятой ногою, и палка в руках была выше его, а он сам был выше хаты; дальше кривилась малорослая церковь, а возле нее выпирала вперед огромная телега с такой маленькой лошадейю, как будто это была не лошадь, а гончая собака. И морда у нее была острая, как у собаки. Потом опять в том же порядке: хата, большой мужик, церковь и огромная телега, и так кругом комнаты. И всё это было желтое на грязно-розовом фоне, уродливое и скучное, и напоминало не деревню, а чью-то печальную и лишённую смысла жизнь. Противен был мастер, который лепил деревню и не дал ей ни одного дерева.

— Хоть бы завтракать скорее! — прошептал Павел, хотя ему совсем не хотелось есть, и нетерпеливо повернулся на бок. При движении книга свалилась на пол и листы ее подвернулись, но Павел не протянул руки, чтобы поднять ее. На корешке золотом по черному было напечатано: «Бокль. История цивилизации», и это напоминало о чем-то старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь и не могут; о жизни, в которой всё непонятно и совершается с жестокой необходимостью, и о том печальном и давящем, как совершенное преступление, о чем не хотел думать Павел. И так захотелось света, широкого и ясного, что даже заломило в глазах. Павел вскочил, обошел валяющуюся книжку и начал дергать драпри у окна, стараясь раздвинуть их как можно шире.

— А, черт! — ругался он и отбрасывал материю, но, тяжелая, она тупо падала назад прямыми и равнодушными складками. Внезапно устав и потеряв всю энергию, Павел лениво отодвинул ее и сел на холодный подоконник.

Туман стоял, и небо за серыми крышами было желто-черное, и тень от него падала на дома и мостовую. Неделю тому назад выпал первый непрочный снег, растаял, и с тех пор на мостовой лежала липкая и серая грязь. Местами мокрые камни отражали черное небо и блестели косым и темным блеском и по ним, вздрагивая и колыхаясь, катились экипажи. Грохота наверху не было слышно, — он замирал в тумане, бессильный подняться над землею, и это бесшумное движение под черным небом, среди темных, промокших домов, казалось бесцельным и скучным. Но среди идущих и едущих были женщины, и их присутствие давало картине сокровенный и тревожный смысл. Они шли по какому-то своему делу и были, казалось, такие обыкновенные и незаметные; но Павел видел их странную и страшную обособленность: они были чужды всей остальной толпе и не растворялись в ней, но были как огоньки среди тьмы. И всё было для них: улицы, дома и люди, и всё стремилось к ним, жаждало их - и не понимало. Слово «женщина» было огненными буквами выжжено в мозгу Павла; он первым видел его на каждой развернутой странице; люди говорили тихо, но, когда встречалось слово «женщина», они как будто выкрикивали его, — и это было для Павла самое непонятное, самое фантастическое и страшное слово. Острым и подозрительным взглядом он прослеживал каждую из женщин и смотрел так, будто она вот сейчас подойдет к дому и взорвет его со всеми людьми или сделает что-нибудь еще более ужасное. Но когда он случайно наткнулся взором на хорошенькое женское личико, он весь подтянулся, сделал красивое и привлекательное лицо и приказал глазами, чтобы она обернулась, взглянула на него. Но она не обернулась, и опять в груди стало пусто, темно и страшно, как в вымершем доме, сквозь который прошла угрюмая чума, убила всё живое и досками заколотила окна.

— Ску-учно! — протяжно сказал Павел и отвернулся от улицы.

В столовой, рядом, давно уже ходили, разговаривали и стучали посудой. Потом всё затихло, и послышался хозяйский голос Сергея Андреича, отца Павла, горловой, снисходительный басок. При первых его округлых и приятных звуках будто пахло хорошими сигарами, умной книгой и чистым бельем. Но теперь в нем было что-то надтреснутое и покоробленное, словно и в гортань Сергея Андреича проник грязно-желтый, скучный туман.

— А юноша наш еще изволят почивать?

Ответа матери Павел не слышал.

— И к обедне в училище, конечно, ходить не изволили?

Ответа опять не было слышно.

— Ну, конечно, — продолжал отец с насмешкою, — обычай устарелый и...

Окончания фразы Павел не слышал, так как Сергей Андреич повернулся; но было сказано, вероятно, что-нибудь смешное, и Лиля звонко захохотала. Когда отец Павла имел против него какое-нибудь тайное неудовольствие, он бранил его за то, что в праздники он поздно встает и не ходит к обедне, хотя сам к религии был совершенно равнодушен и не был в церкви около двадцати лет, — с тех пор как женился. И с самого лета, когда они жили на даче, он имел что-то против Павла, и тот думал, что он догадывается. Но теперь угрюмо решил:

— Пусть его!

Взяв со стола тетрадку, он сделал вид, что читает. Но глаза его враждебно и сторожко были направлены к столовой, как у человека, который привык скрываться и постоянно ждет нападения.

— Позовите Павла! — сказал Сергей Андреич.

— Павел! Павлуша! — позвала мать.

Павел быстро встал и, вероятно, сделал себе очень больно: он перегнулся, лицо его исказилось гримасой страдания, и руки судорожно прижались к животу. Медленно он выпрямился, стиснул зубы, от чего углы рта притянулись к подбородку, и дрожащими руками оправил куртку. Потом лицо его побледнело и потеряло всякое выражение, как у слепого, и он вышел в столовую, шагая решительно, но сохраняя в походке следы испытанной жестокой боли.

— Что делал? — коротко спросил Сергей Андреич: у них не принято было здороваться по утрам.

— Читал, — так же коротко ответил Павел.

— Что?

— Бокля.

— То-то, Бокля, — сказал Сергей Андреич, с угрозой, через пенсне, глядя на сына.

— А что? — решительно и вызывающе ответил Павел и посмотрел отцу прямо в глаза.

Тот помолчал и многозначительно бросил:

— Ничего.

Тут вмещалась Лилечка, которой стало жаль брата:

— Павля, ты вечером будешь дома?

Павел молчал.

— Кто не отвечает, когда его спрашивают, тот обыкновенно называется невежей. Как ваше мнение на этот счет, Павел Сергеевич? — спросил отец.

— Охота тебе, Сергей Андреич! — вмещалась мать. — Ешь, а то котлеты остынут. Какая ужасная погода, хоть огни зажигай! И не знаю, как я поеду.

— Буду... — ответил Павел Лилечке, а Сергей Андреич поправил пенсне и сказал:

— Меланхолии этой я не выношу, мировой скорби... Порядочный мальчик должен быть бодр и весел.

— Нельзя, чтобы всегда было весело, — ответила Лилечка, которой всегда было весело.

— Я не требую, чтобы люди насильно веселились. Ты отчего не ешь? Тебя спрашиваю, Павел!

— Не хочу.

— Отчего не хочешь?

— Аппетита нет.

— А вчера где вечером был? Шатался?

— Дома был.

— То-то, дома!

— А где же мне быть? — дерзко спросил Павел.

Сергей Андреич ответил с ядовитой вежливостью:

— Откуда же мне знать всё места, — он подчеркнул слово «места», — которые изволят посещать Павел Сергеевич? Павел Сергеевич взрослый; у Павла Сергеевича скоро усы вырастут; Павел Сергеевич, может, и водку пьет, — почему я знаю?

Завтрак продолжался молча, и всё, на что падал свет из окна, казалось желтым и странно утрюмым. Сергей Андреич внимательно и испытующе глядел в лицо Павла и думал: «И под глазами круги... Но неужели это правда, и он близок к женщинам — такой мальчишка?»

Этот странный и мучительный вопрос, продумать который до конца у Сергея Андреича не хватало силы, явился недавно, летом, и он живо помнит, как это произошло, и никогда не забудет. За маленьким сарайчиком, где была густая трава и белая березка бросала прохладную синюю тень, он случайно увидел надорванный и скомканный листок бумаги. Было в этом листке что-то особенное и тревожное: так рвут и комкают бумаги, которые возбуждают ненависть и гнев, и Сергей Андреич поднял ее, расправил и посмотрел. Это был рисунок. Сперва он не понял, улыбнулся и подумал: «Это Павлов рисунок! Славно он рисует!» Потом повернул бумагу боком и ясно различил безобразно-циничную и грязную картинку.

— Что за гадость! — сказал он сердито и бросил бумажку.

Минут через десять он вернулся за нею, понес ее к себе в кабинет и долго рассматривал, стараясь решить едкую и мучительную загадку: рисовал ли это Павел, или кто-нибудь другой? Он не мог допустить, чтобы такую грязную, пошлую вещь мог нарисовать Павел и, рисуя, знать всё то развратное и мерзкое, что в ней было. В смелости линий видна была опытная и развращенная рука, без колебаний подходившая к самому сокровенному, о чем неспорченным людям стыдно думать; в старательности, с какой рисунок исправлялся резинкой и поддвечивался красным карандашом, была наивность глубокого и бессознательного падения. Сергей Андреич смотрел и не верил, чтобы его Павел, его умный и развитый мальчик, всё мысли которого он знает, мог своею-рукою, загорелою рукою крепкого и чистого юноши, рисовать такую гадость и знать и понимать всё то, что он рисует. И так как очень было страшно думать, что это сделал Павел, то решил, что это кто-нибудь другой; но бумажку спрятал. И когда увидел Павла, соскочившего с велосипеда, веселого, живого, еще полного чистых запахов полей, по которым он носился, — он еще раз решил, что это не Павел сделал, и обрадовался.

Но радость скоро прошла, и уже через полчаса Сергей Андреич смотрел на Павла и думал: кто этот чужой и незнакомый юноша, странно высокий, странно похожий на мужчину? Он говорит грубым и мужественным голосом, много и жадно ест, спокойно и независимо наливает в стакан вино и покровительственно шутит с Лилей. Он называется Павлом, и лицо у него Павла, и смех у него Павла, и когда он обгрыз сейчас верхнюю корку хлеба, то обгрыз ее, как Павел, — но Павла в нем нет.

— А сколько тебе лет, Павел? — спросил Сергей Андреич. Павел засмеялся.

— Старик уже я, папаша! Скоро восемнадцать.

— Ну, делегат еще до восемнадцати, - поправила мать. — Еще только шестого декабря будет восемнадцать.

— А усов нет! — сказала Лиля.

И всё стали шутить, что у Павла нет усов, и он притворился, что плачет; а после обеда налепил на губу ваты и говорил старческим голосом:

— А где моя старуха?

И ходил как расслабленный. И тут еще Лиля заметила, что Павел что-то особенно весел; после чего Павел нахмурился, снял усы и ушел в свою комнату. И с тех пор Сергей Андреич искал прежнего милого, хорошо знакомого мальчика, натыкался на что-то новое и загадочное и мучительно недоумевал.

И еще новое узнал он тогда в Павле: то, что сын его постоянно переживает какие-то настроения: один день бывает весел и шаловлив, а то по целым часам хмурится, становится раздражителен и несносен, и хоть и сдерживается, но видно, что страдает от каких-то неведомых причин. И было очень тяжело и неприятно видеть, что близкий человек печален, и не знать причин, и от этого близкий человек становился далеким и чужим. Уже по одному тому, как входил Павел, как он без аппетита пил чай, крошил пальцами хлеб, а сам смотрел в сторону, на соседний лес, отец чувствовал его дурное настроение и возмущался. И ему хотелось, чтобы Павел заметил это и понял, какую неприятность делает он отцу своим дурным настроением; но Павел не замечал и, кончив чай, уходил.

— Куда ты? — спрашивал Сергей Андреич.

— В лес.

— Опять в лес! — сердито замечал отец.

Павел слегка удивлялся:

— А что? Ведь я каждый день в лес хожу.

Отец молча отвергивался, а Павел уходил, и по его широкой, спокойно кольшущейся спине видно было, что он даже не задумался о том, почему сердится отец, и совсем забыл о его существовании.

И уже давно Сергей Андреич хотел решительно и откровенно поговорить с Павлом, но слишком мучителен был предстоящий разговор, и он откладывал его со дня на день. А с переездом в город Павел стал особенно мрачен и нервен, и Сергей Андреич боялся за себя, что не сумеет говорить достаточно спокойно и внушительно. Но в этот день, за долгим и скучным завтраком, решил, что сегодня же поговорит. «Быть может, он просто влюблен, как влюблены бывают все эти мальчишки и девчонки, — успокаивал он себя. — Вон и Лилька влюблена в какого-то Авдеева; а я и не помню, какой он. Кажется, гимназист».

— Лилька! Авдеев сегодня будет? — спросил Сергей Андреич с усиленным, подчеркнутым равнодушием.

Лилька испуганно взмахнула длинными ресницами, выронила из рук грушу и прошептала:

— Ах!.. — Потом полезла под стол за грушей, и когда вернулась оттуда, то была вся красная, и даже голос ее был как будто красный. — Тинов будет, Пospelов будет... и Авдеев тоже будет.

В комнате Павла стало немного светлее, и лепная деревяшка на потолке выступила резче и глядела с тупым и наивным самодовольством. Павел сердито отвернулся и взял книжку, но скоро положил ее к себе на грудь и стал думать о том, что сказала Лилечка: гимназистки придут. Это значит, что придет и Катя Реймер — всегда серьезная, всегда задумчивая, всегда искренняя Катя Реймер. Эта мысль была как огонь, на который упало его сердце, и со стоном он быстро повернулся и уткнулся лицом в подушку. Потом, так же быстро приняв прежнее положение, он сдернул с глаз две едкие слезинки и уставился в потолок, но уже не видел ни большого мужика с большой палкой, ни огромной телеги. Он вспомнил дачу и темную июльскую ночь.

Темная была эта ночь, и звезды дрожали в синей бездне неба, и снизу гасила их, подымаясь из-за горизонта, черная туча. И в лесу, где он лежал за кустами, было так темно, что он не видел своей руки, и порой ему чудилось, что и самого его нет, а есть только молчаливая и глухая тьма. Далеко во все стороны расстилался мир, и был он бесконечный и темный, и всем одиноким и скорбным сердцем чувствовал Павел его неизмеримую и чуждую громаду. Он лежал и ждал, когда по тропинке пройдет Катя Реймер с Лилечкой и другими веселыми и беззаботными людьми, которые живут в том, чуждом для него мире и чужды для него. Он не пошел с ними, так как любил Катю Реймер чистой, красивой и печальной любовью, и она не знала об этой любви и никогда не могла разделить ее. И ему хотелось быть одному и возле Кати, чтобы глубже почувствовать ее далекую прелесть и всю глубину своего горя и одиночества. И он лежал в кустах, на земле, чужой всем людям и посторонний для жизни, которая со всею своею красотой, песнями и радостью проходила мимо него, — проходила в эту июльскую темную ночь.

Он долго лежал, и тьма стала гуще и чернее, когда далеко впереди послышались голоса, смех, хрустение сучков под ногами, и ясно стало, что идет много молодого и веселого народа. И всё это надвигалось толпою веселых звуков и стало совсем близко.

— Ох, батюшки! — говорила Катя Реймер густым и звучным контральто. — Да тут голову расшибешь. Тинов, светите!

Из тьмы пропищал странный и смешной голос полишинеля:

— Спички потерял, Катерина Эдуардовна!

Среди смеха прозвучал другой голос, молодой и сдержанный бас:

— Позвольте, Катерина Эдуардовна, я посвечу!

Катя Реймер ответила, и голос ее был серьезный и изменившийся:

— Пожалуйста, Николай Петрович!

Спичка сверкнула и секунду горела ярким, белым светом, выделяя из мрака только державшую ее руку, как будто последняя висела в воздухе. Потом стало еще темнее, и всё со смехом и шутками двинулись вперед.

— Давайте вашу руку, Катерина Эдуардовна! — прозвучал тот же молодой, сдержанный бас.

Минута тишины, пока Катя Реймер давала свою руку, и затем твердые мужские шаги и рядом с ними скромный шелест платья. И тот же голос тихо и нежно спросил:

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна?

Ответа Павел не слышал. Идущие повернулись к нему спиной; голоса сразу стали глуше, вспыхнули еще раз, как умирающее пламя костра, и потухли. И когда казалось, что ничего уже нет, кроме глухого мрака и молчания, с неожиданной звонкостью прозвучал женский смех, такой ясный, невинный и странно-лукавый, как будто засмеялся не человек, а молодая темная береза или кто-то, прячущийся в ее ветвях. И точно разбегающийся шепот шмыгнул по лесу, и всё выжидающе смолкло, когда мужской голос, как золото, мягкий, блестящий и звонкий, запел высоко и страстно:

— Ты мне сказала: да — я люблю тебя!..

Так ослепительно-ярок, так полон живой силы был этот голос, что зашевелился, казалось, лес, и что-то сверкающее, как светляки в пляске, мелькнуло в глазах Павла. И снова те же слова, и звенели они слитно, как стон, как крик, как глубокий неразделимый вздох.

— Ты мне сказала: да — я люблю тебя!..

И еще и еще, с безумной настойчивостью, повторял певец всё ту же короткую и долгую фразу, точно вонзал ее во тьму. Казалось, он не мог остановиться; и с каждым повторением жгучий призыв становился сильнее и неудержимее; уже беспощадность звучала в нем — бледнело чье-то лицо, и счастье так похоже становилось на смертельную тоску.

Минута черного молчания — далекий, тихо сверкающий, загадочный, как зарница, женский смех, — и стихло всё, и тяжелая тьма словно придавила идущих. Стало мертвенно-тихо и пусто, как в пустом пространстве, на тысячу верст над землей. Жизнь прошла мимо со всеми ее песнями, любовью и красотой — прошла в эту июльскую темную ночь.

Павел поднялся из-за кустов и тихо прошептал:

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна? — и тихие слезы навернулись на его глазах.

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна? — повторял он и без цели шел вперед, во тьму крепчавшей ночи. Раз он совсем близко коснулся дерева и остановился в недоумении. Потом обвил шершавый ствол рукою, прижался к нему лицом, как к другу, и замер в тихом отчаянии, которому не дано слез и бешеного крика. Потом тихо отшатнулся от дерева, которое его приютило, и пошел дальше.

— Отчего вы так грустны, Катерина Эдуардовна? — повторял он, как жалобную песню, как тихую молитву отчаяния, и вся душа его билась и плакала в этих звуках. Грозный сумрак охватывал ее, и, полная великой любви, она молилась о чем-то светлом, чего не знала сама, и оттого так горяча была ее молитва.

Уже не было в лесу покоя и тишины: дыхание бури кольхнуло воздух, и сдержанно зарокотали вершины, и сухим смешком побежал по листьям ветер. Когда Павел вышел на опушку, ветер чуть не сорвал с него шапку и властно ударил его в лицо холодом, свежестью и запахом ржи. Было величественно и грозно. Сзади черной и глухо стонущей массой вздымался лес, а впереди тяжелая и черная, как мрак, принявший формы, надвигалась грозовая туча. И под нею расстилалось поле ржи, и было оно совсем белое, и оттого, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх. А когда вспыхивала молния и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудью теней, на поле от края до края ложился широкий золотисто-красный огонь, и колосья бежали, склонив головы, как испуганное стадо, — бежали в эту июльскую грозную ночь.

Павел поднялся на высокий вал, распростер руки и точно звал к себе на грудь и ветер, и черную тучу, и всё небо, такое

прекрасное в своем огненном гневе. И ветер кружился по его лицу, точно ощупывая его, и со свистом врвался в гущу податливых листьев; а туча вспыхивала и грохотала, и, низко склонившись, бежали колосья.

— Ну, иди! Иди! — кричал Павел, а ветер подхватил его слова и свирепо втискивал их обратно в его горло, и среди грохота неба не слышно было этих мятежных и молитвенных слов, с которыми маленький человек обращался к великому неизвестному.

Это было летом, в июльскую темную ночь. Павел глядел в потолок, улыбался умиленной и гордою улыбкой, и на глазах его выступили слезы.

— Какой я стал плакса! — прошептал он, качая головой, и наивно, по-детски вытер пальцами глаза.

С надеждою обернулся он к окнам, но оттуда угрюмо и скучно смотрел грязный городской туман, и всё было от него желтое: потолок, стены и измятая подушка. И вспугнутые им чистые образы прошлого заколыхались, посерели и провалились куда-то в черную яму, толкаясь и стеная.

— Отчего вы так грустны? — говорил Павел, как заклинание, как мольбу о пощаде; но бессильна она была перед новыми, еще смутными, но уже знакомыми и страшными образами. Как гнилой туман над ржавым болотом, поднимались они из этой черной ямы, и разбуженная память властно вызывала всё новые и новые картины.

— Не хочу! Не хочу! — шептал Павел и метался и корчился от боли.

Опять дачу увидел он, но только был день — странный, нехороший и жуткий. Было знойно, и солнце светило, и пахло откуда-то тревожною гарью; а он прятался в прибрежных кустах и, дрожа от страха, смотрел в бинокль, как купаются женщины. И ярко-розовые пятна их тел увидел он, и голубое небо, казавшееся красным, и себя, бледного, с трясущимися руками и испачканными в земле коленями. Потом каменный город увидел он и снова женщин, равнодушных, усталых, с наглыми и холодными глазами. В глубину прошлого уходила вереница их раскрашенных и бледных лиц, и мелькали среди них усатые мужские физиономии, бутылки пива и недопитые стаканы, и в каком-то чаду кружились, танцую, освещенные тени, и назойливо брэнчал рояль, выбрасывая тоскливые, назойливые звуки польки.

— Не хочу! — тихо, уже сдаваясь, шептал Павел.

А воспоминания врезались в его душу, как острый нож в живое мясо. И всё были женщины, их тела, лишённые души, отвратительные, как липкая грязь задних дворов, и странно-обаятельные в своей нескрываемой грязи и доступности. И всюду они были. Они были в циничных, едких, как купорос, разговорах и бессмысленных анекдотах, которые он слышал от других и сам рассказывал так мастерски; они были в рисунках, которые он рисовал и показывал со смехом товарищам; они были в одиноких мыслях и сновидениях, тяжелых, как кошмар, и притягательных, как он.

И, как живая, как то, что никогда не может быть забыто, встала перед ним ночь — угарная, чадная ночь. В эту ночь, два года тому назад, он отдал свое чистое тело и свои первые чистые поцелуи развратной и бесстыдной женщине. Ее звали Луиза; она была одета в гусарский костюм и постоянно жаловалась, что у нее лопаются рейтузы. Павел почти не помнит, как он был с нею, и помнит хорошо только свой дом, куда он вернулся поздно, незадолго до рассвета. Дом был темен и тих; в столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира. От пива его мучила тошнота, и когда он лег, лепной потолок, скудно озаренный свечой, заколыхался, завертелся и поплыл. Он несколько раз выходил, пошатываясь, стараясь не шуметь и цепляясь за стулья, и пол под непривычными босыми ногами был страшно холодный и скользкий, и от этого необычайного холода становилось особенно ясно, что давно уже ночь и всё тихо спят, а он один ходит и мучится болью, чуждою всему этому чистому и хорошему дому.

Павел с ненавистью оглядел свою комнату и противный лепной потолок и, покорный перед нахлынувшими воспоминаниями, отдался их страшной власти.

Он вспомнил Петрова, красивого и самоуверенного юношу, который совершенно спокойно и без страсти говорил о продажных женщинах и учил товарищей:

— Я никогда не позволю себе целовать продажную женщину. Целовать можно только тех, кого любишь и уважаешь, но не эту дрянь.

— А если она тебя целует? — спрашивал Павел.

— Пусть!.. Я отвертываюсь.

Павел горько и печально улыбался. Он не умел поступать так, как Петров, и целовал этих женщин. Его губы касались их холодного тела, и было однажды, — и это страшно вспомнить, — он, со странным вызовом самому себе, целовал вялую руку, пахнущую духами и пивом. Он целовал, точно казнил себя; он целовал, точно губы его могли произвести чудо и превратить продажную женщину в чистую, прекрасную, достойную великой любви, жаждою которой сгорало его сердце. А она сказала:

— Какой вы лизун!

И от нее он заболел. Заболел постыдною и грязною болезнью, о которой люди говорят тайком, глумливым шепотом, прячась за закрытыми дверьми, болезнью, о которой нельзя подумать без ужаса и отвращения к себе.

Павел вскочил с постели и подошел к столу. Там он передвигал бумаги, тетради, раскрывал их, опять закрывал, и руки его дрожали. А глаза его боком, напряженно, вглядывались в то место стола, где заперты были и сверху тщательно заложены бумагами принадлежности для лечения.

«Если б у меня был револьвер, я сейчас же застрелился бы. Вот в это место...» — подумал он и приложил палец к левому боку, где билось сердце.

И, сосредоточенно глядя перед собою, думая о том, у кого из товарищей можно достать оружие, он дошел до измятой постели и лег. Потом он задумался о том, сумеет ли он попасть в сердце, и, раскрыв куртку и рубашку, стал с интересом разглядывать молодую, еще не окрепшую грудь.

— Павел, отвори! — услышал он за дверью голос Лилечки.

Испуганно вздрогнув, как он пугался теперь всякого неожиданного звука и крика, Павел быстро оправился и нехотя открыл задвижку.

— Чего тебе? — хмуро спросил он.

— Так, поцеловать тебя. Зачем ты постоянно запираешься? Боишься, что украдут?

Павел лег на постель, и Лилечка, сделав безуспешную попытку присесть около него, сказала:

— Подвинься! Какой злой: не хочет сестренке места дать.

Павел молча подвинулся.

— А мне сегодня скучно, — сказала Лилечка, — так, что-то нехорошо. Должно быть, от погоды: я люблю солнце, а это такая гадость. Кусаться от злости хочется.

И, осторожно глядя его по стриженной и колючей голове, она заглянула ему нежно в глаза и спросила:

— Павля! Отчего ты стал такой грустный?

Павел отвел глаза и бросил сумрачный ответ:

— Я никогда веселым и не был.

— Нет, Павля, ведь я же знаю. Это ты с тех пор, как мы с дачи переехали. От всех прячешься, никогда не посмеешься. Танцевать перестал.

— Глупое занятие...

— А прежде танцевал! Ты хорошо мазурку танцуешь, лучше всех; но и остальное тоже хорошо. Павля, скажи, отчего это, а? Скажи, голубчик, милый, славный, хороший!

И она поцеловала его в щеку, около покрасневшего уха.

— Не трогай меня!.. Отойди!.. — и, поведя плечами, тихо добавил: — Я грязный...

Лилечка засмеялась и, щекоча за ухом, сказала:

— Ты чистенький, Павля! Помнишь, как мы с тобою вместе в ванне купались? Ты был беленький, как поросенок, такой чистенький-чисте-е-нький!

— Отойди, Лилечка! Пожалуйста! Ради Бога!

— Не отойду, пока ты не станешь веселый. У тебя около уха маленькие бачки. Я сейчас только увидела. Дай, я поцелую их!

— Отойди, Лиля! Не трогай меня! Говорю я тебе, — глухо говорил Павел, пряча лицо, — я гряз... грязный... Грязный! — тяжело выдохнул он мучительное слово и весь, с головы до ног, содрогнулся от мгновенно пронесшегося и сдержанного рыдания.

— Что с тобою, Павля, родной? — испугалась Лилечка. — Хочешь, я папу позову?

Павел глухо, но спокойно ответил:

— Нет, не надо. Ничего со мною. Голова немного болит.

Лилечка недоверчиво и нежно гладила стриженный и крутой затылок и задумчиво смотрела на него. Потом сказала безразличным тоном:

— А вчера о тебе Катя Реймер спрашивала.

После некоторого молчания Павел, не обертываясь, спросил:

— Что спрашивала?

— Да так, вообще: как ты живешь, что делаешь, почему никогда не придешь к ним. Ведь они тебя звали?

— Очень ей нужно...

— Нет, Павля, не говори! Ты ее не знаешь. Она очень умная и развитая и интересуется тобой. Ты думаешь, она только танцы любит, а она много читает и кружок для чтения хочет устроить. Она постоянно говорит мне: «Какой умный твой брат».

— Она кокетка... и дрянь.

Лилечка вспыхнула, гневно оттолкнула Павла и встала.

— Сам ты дурной, если так говоришь.

— Дурной? Да. Что же из этого? — вызывающе сказал Павел, злыми и блестящими глазами глядя на сестру.

— То, что не смеешь так говорить! Не смеешь! — крикнула Лилечка, вся красная, с такими же злыми и блестящими глазами.

— Нет, ведь я дурной! — настаивал Павел.

— Грубый, несносный, всем отравляешь жизнь... Эгоист!

— А она дрянь, твоя Катя... Катя. И всё вы дрянь, шушера!

У Лилечки сверкнули слезы. Взявшись за ручку двери, она подавила дрожь в голосе и сказала:

— Мне жалко было тебя, и оттого я пришла. А ты не стоишь этого. И никогда больше я к тебе не приду. Слышишь, Павел?

Крутой затылок оставался неподвижен. Лиля гневно кивнула ему головой и вышла.

Выражая на лице полное презрение, точно в дверь вышло что-то нечистое, Павел тщательно закрыл задвижку и прошелся по комнате. Ему было легче, что он обругал и Катю и Лилечку и сказал, какие они всё: дрянь и шушера. И, осторожно прохаживаясь, он стал размышлять о том, какие всё женщины дурные, эгоистичные и ограниченные существа. Вот Лиля. Она не могла понять, что он несчастен, и оттого так говорит, и обругала его, как торговка. Она влюблена в Авдеева, а третьего дня был у них Петров, и она поругалась с горничной, потом с матерью за то, что не могли найти ее красной ленточки. И Катя Реймер такая же: она задумчивая, серьезная, она интересуется им, Павлом, и говорит, что он умный; а придет к ним тот же Петров, и она наденет для него голубенькую ленточку, будет причесываться перед зеркалом и делать красивое лицо. И всё это для Петрова; а Петров — самоуверенный пошляк и тупица, и это известно всей гимназии.

Она чистенькая и только догадывается, но не позволяет себе думать о том, что существуют развратные женщины и болезни — страшные, позорные болезни, от которых человек становится несчастным и отвратительным самому себе и стреляется из револьвера, такой молодой и хороший! А сама она летом на кругу носила платье декольте, и когда ходит под ручку, то близко-близко прижимается. Быть может, она уже целовалась с кем-нибудь...

Павел сжал кулаки и сквозь зубы прошептал:

— Какая гадость!

Наверное, целовалась... Павел не осмеливается даже взглянуть на нее, а она целовалась, и, вернее всего, с Петровым, — он самоуверенный и наглый. А потом когда-нибудь она отдаст ему и свое тело, и с ним будут делать то же, что делают с продажными женщинами. Какая мерзость! Какая подлая жизнь, в которой нет ничего светлого, к чему мог бы обратиться взгляд, отуманенный печалью и тоскою! Почему знать, быть может, и теперь, уже теперь, у Кати есть... любовник.

— Не может быть! — крикнул Павел, а кто-то внутри его спокойно и злорадно продолжал, и слова его были ужасны:

«Да, есть, какой-нибудь кучер или лакей. Известны случаи, когда у таких чистых девушек были любовники лакеи, и никто не знал этого, и всё считали их чистыми; а они ночью бегали на свидание, босыми ногами, по страшно холодному полу. Потом выходили замуж и обманывали. Это бывает, — он читал. У Реймеров есть лакей, черный и красивый малый...»

Павел резко поворачивается и начинает ходить в другую сторону.

Или Петров... Она вышла к нему на свидание, а Петров — он наглый и смелый — сказал ей: «Тут холодно, — поедемте куда-нибудь в тепло!..» И она поехала.

Дальше Павел думать не может. Он стоит у окна и словно давится желтым отвратительным туманом, который утрюмо и властно ползет в комнату, как бесформенная желтобрюхая гадина. Павла душит злоба и отчаяние, и всё же ему легче, что он не один дурной, а всё дурные, весь мир. И не такой страшной и постыдной кажется его болезнь. «Это ничего, — думает он, —

Петров был два раза болен, Самойлов даже три раза, Шмидт, Померанцев уже вылечились, и я вылечусь».

— Буду такой, как и они, и всё будет хорошо, — решил он.

Павел попробовал задвижку, подошел к столу и взялся за ручку ящика; но тут ему представились всё эти глубоко запрятанные инструменты, склянки с мутной жидкостью и желтыми противными ярлыками, и то, как он покупал их в аптеке, стора от стыда, а провизор отвертывался от него, точно и ему было стыдно; и как он был у доктора, человека с благородным и необыкновенно чистым лицом, так что странно даже было, что такой чистый человек принужден постоянно иметь дело с нечистыми и отвратительными болезнями. И протянутая рука Павла упала, и он подумал:

— Пусть!.. Я не стану лечиться. Лучше я умру...

Он лег, и перед глазами его стояли склянки с желтыми ярлыками, и от них понятно стало, что всё дурное, что он думал о Кате Реймер, — скверная и гадкая ложь, такая отвратительная и грязная, как и болезнь его. И стыдно и страшно ему было, что он мог так думать о той, которую он любил и перед которой недостойно стоять на коленях; мог думать и радоваться своим грязным мыслям, и находить их правдивыми, и в их грязи черпать странную и ужасную гордость. И ему страшно стало самого себя.

«Неужели это я, и эти руки — мои?» — думал он и разглядывал свою руку, ещё сохранившую летний загар и у кисти испачканную чернилами.

И всё стало непонятно и ужасно, как во сне. Он как будто первый раз увидел и комнату свою, и лепной потолок, и свои сапоги, упершиеся в прутья постели. Они были фландрские, с узкими и длинными носками, и Павел пошевелил большим пальцем, чтобы убедиться, что в них заключена его нога, а не чужая. И тут убедился, что это он, Павел Рыбаков, и понял, что он погибший человек, для которого нет надежды. Это он думал так грязно о Кате Реймер; это у него постыдная болезнь; это он умрет скоро-скоро, и над ним будут плакать.

— Прости меня, Катя! — прошептал он бледными пересохшими губами.

И он почувствовал грязь, которая обволакивает его и проникает насквозь. Он начал чувствовать ее с тех пор, как заболел. Каждую пятницу Павел бывает в бане, два раза в неделю меняет белье, и всё на нем новое, дорогое и незаносенное; но кажется, будто весь он с головою лежит в каких-то зловонных помоях, и когда идет, то от него остается в воздухе зловонный след. Каждое маленькое пятнышко, оказавшееся на куртке, он рассматривает с испугом и странным интересом, и очень часто у него начинают чесаться то плечи, то голова, а белье будто прилипает к телу. И иногда это бывает за обедом, на людях, и тогда он сознает себя таким ужасающе одиноким, как прокаженный на своем гноище.

Так же грязны и мысли его, и кажется, что, если бы вскрыть его череп и достать оттуда мозг, он был бы грязный, как тряпка, как те мозги животных, что валяются на бойнях, в грязи и навозе. И всё женщины, усталые, раскрашенные, с холодными и наглыми глазами! Они преследуют его на улице, и он боится выходить на улицу, особенно вечером, когда город кишит этими женщинами, как разложившееся мясо червями; они входят в его голову, как в свою грязную комнату, и он не может отогнать их. Когда он спит и бессилён управлять своими чувствами и желаниями, они огненными призраками вырастают из глубины его существа; когда он бодрствует, какая-то страшная сила берет его в свои железные руки и, ослепленного, изменившегося, непохожего на самого себя, бросает в грязные объятия грязных женщин.

«Это оттого, что я развратник, — с спокойным отчаянием подумал Павел. - Да недолго им быть, — скоро застрелюсь. Повидаю сегодня Катю Реймер и застрелюсь. Или нет: я только из своей комнаты послушаю ее голос, а когда меня будут звать — не выйду».

Тяжело волоча ноги, как больной, Павел подошел к окну. Что-то темное, жуткое и безнадежное, как осеннее небо, глядело оттуда, и казалось, что не будет ему конца, и всегда было оно, и нет нигде на свете ни радости, ни чистого и светлого покоя.

— Хоть бы света! — говорит Павел с тоскою и, как последнюю надежду, вспоминает дневник. Он также далеко спрятан и не раскрывался с тех пор, как Павел заболел: когда мысли грязны и человек не любит себя, своей радости и своего горя — ему не о чем писать в дневнике. Осторожно и нежно, как больное дитя, Павел берет дневник и ложится с ним на кровать. Тетрадь красиво переплетена, и обрез бумаги золотой; сама белая, чистая, и на всех исписанных страницах нет ни одного грязного пятна; Павел осторожно и почтительно перелистывает ее, и от блестящих, туго гнувшихся страниц пахнет весною, лесом, солнечным светом и любовью.

Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и решительные, с таким множеством умных иностранных слов, что Павлу кажется, будто не он писал их, а кто-то пожилой и страшно умный; тут первый трепет скептической мысли, первые чистые сомнения и вопросы, обращенные к Богу: где ты, о Господи? Тут сладкая грусть неудовлетворенной и неразделенной любви и решение быть гордым, благородным и любить Катю Реймер всю долгую жизнь, до самой могилы. Тут грозный и страшный вопрос о цели и смысле бытия и чистосердечный ответ, от которого веет весною и солнечным блеском: нужно жить, чтобы любить людей, которые так несчастны. И ни слова о тех женщинах. Только изредка, как отражения черной тучи на зеленой и смеющейся земле, — короткие, подчеркнутые и односложные заметки: тяжело. Павел знает их тайный и печальный смысл, обегает их глазами и быстро перевертывает страницу, которая опозорена ими.

И всё время Павлу казалось, что это писал не он, а другой какой-то человек, хороший и умный; он умер теперь, этот человек, и оттого так многозначительно всё им написанное, и оттого так жаль читать его.

И тихая жалость к умершему человеку наполнила его сердце; и первый раз за много дней Павел почувствовал себя дома, на своей постели, одного, а не на улице, среди тысяч враждебных и чуждых жизней.

Уже темнело, и погас странный, желтоватый отблеск; окутанная туманом, неслышно вырастала долгая осенняя ночь, и, точно испуганные, сближались дома и люди. Бледным, равнодушным светом загорелись уличные фонари, и был их свет холоден и печален; кое-где в домах вспыхнули окна теплым огнем, и каждый такой дом, где светилось хоть одно окно, точно озарялся приветливой и ласковой улыбкой и становился, большой, черный и ласковый, как старый друг.

Всё так же катились, колыхаясь, экипажи и торопливо двигались прохожие, но теперь как будто у каждого из них была цель: скорее прийти туда, где тепло, и ласковый свет, и ласковые люди. Павел закрыл глаза, и ему живо представилось то, что он видел перед отъездом с дачи, когда один, вечером, он ходил гулять: молчаливые осенние сумерки, вместе с пушистым дождем падающие с неба, и длинное, прямое шоссе. Своими концами оно утопало в ровной мгле и говорило о чем-то бесконечном, как жизнь; и по шоссе, навстречу Павлу, быстро двигались два жестянщика, запряженные в маленькую повозку. Повозка слабо погромыживала; жестянщики напирала грудью и быстро шли, в такт помахивая головами; а далеко перед ними, почти на горизонте, светлой и яркой точкой блистал огонек. Одну минуту они были возле Павла; и, когда он обернулся, чтобы поглядеть им вслед, шоссе было безлюдно и темно, как будто никогда не проходили здесь люди, запряженные в тележку.

Павел видел шоссе и сумерки, и это было всё, что наполняло его мысли. Это была минута затишья, когда мятежная, взволнованная душа, истощенная попытками выбиться из железного круга противоречий, легко и неслышно выскользнула из него и поднялась высоко. Это был покой, и тишина, и отрешение от жизни, что-то такое хорошее и грустное, чего нельзя передать человеческою речью. Больше получаса сидел Павел в кресле, почти не двигаясь; в комнате стало темно, и светлые пятна от фонарей и еще от чего-то заиграли на потолке; а он всё сидел, и лицо его в темноте казалось бледным и непохожим на обычное.

— Павел, отвори! — послышался голос отца.

Павел вскочил, и от быстрого движения та же острая и резкая боль захватила ему дыхание. Перегнувшись, прижав похолодевшие руки к запавшему животу, он стиснул зубы и мысленно ответил: «Сейчас», — так как заговорить не мог.

— Павлуша, ты спишь?

Павел открыл. Сергей Андреич вошел, немного смущенно, немного нерешительно, но в то же время властно, как входят отцы, которые сознают свое право — когда угодно войти в комнату сына, но вместе с тем желают быть джентльменами и строго чтут неприкосновенность чужого жилища.

— Что, брат, спал? — мягко спросил Сергей Андреич и неловко в темноте похлопал Павла по плечу.

— Нет, так... дремал, — неохотно, но так же мягко ответил Павел, еще полный тихим покоем и неясными грезами. Он понял, что отец пришел к нему мириться, и подумал:

«К чему всё это?»

— Зажги, пожалуйста, лампу! — попросил отец. — Только и спасения от тумана, когда огни зажгут. Весь день сегодня нервничаю.

«Извиняется...» — подумал Павел, снимая стекло и зажигая спичку.

Сергей Андреич сел в кресло у стола, поправил абажур, и, заметив тетрадку с надписью: «Дневник», деликатно отложил ее в сторону и даже прикрыл бумагой. Павел молча наблюдал за движениями отца и ждал.

— Дай-ка спичечку! — попросил Сергей Андреич, доставая папиросу. Спички у него были в кармане, но ему хотелось доставить сыну удовольствие услужить ему.

Он закурил, взглянул на черный переплет Бокля и начал:

— Я радикально не согласен с Толстым и другими опростителями, которые бесплодно воюют с цивилизацией и требуют, чтобы мы вновь ходили на четвереньках. Но нельзя не согласиться, что оборотная сторона цивилизации внушает весьма, — он поднял руку и опустил ее, — весьма серьезные опасения. Так, если мы посмотрим на то, что делается теперь хотя бы в той же прекрасной Франции...

Сергей Андреич был умный и хороший человек и думал всё то, что думали умные и хорошие люди его страны и его времени, учившиеся в одних и тех же школах и читавшие одни и те же хорошие книги, газеты и журналы. Он был инспектором страхового общества «Феникс» и часто уезжал из столицы по его делам; а когда бывал дома, то ему едва хватало времени повидаться с многочисленными знакомыми, побывать в театре, на выставках и ознакомиться с книжными новостями. При всем том он улучал время побыть с детьми, особенно с Павлом, развитию которого, как развитию мальчика, придавал особенное значение. Кроме того, с Лилей он не знал, о чем говорить, и за это больше ласкал ее. Павла он не ласкал, как мальчика, но зато говорил с ним, как с взрослым, как с хорошим знакомым, с тою только разницей, что никогда не посвящал разговора житейским пустякам, а старался направить его на серьезные темы. Поэтому он считал себя хорошим отцом, и когда начинал разговаривать с

Павлом, то чувствовал себя как профессор на кафедре. И ему и Павлу это очень нравилось. Даже об успехах Павла в училище он не решался спрашивать подробно, так как боялся, что это нарушит гармонию их отношений и придаст им низменный характер крика, брани и упреков. Своих редких вспышек он долго стыдился и оправдывал их темпераментом. Он знал всё мысли Павла, его взгляды, его слагающиеся убеждения и думал, что знает всего Павла. И он был очень удивлен и огорчен, когда вдруг оказалось, что Павел — не в этих убеждениях и взглядах, а где-то вне их, в каких-то загадочных настроениях, в каких-то омерзительных рисунках, о происхождении которых необходимо требовать отчета. Рано или поздно — но необходимо.

И теперь он говорил очень умно и хорошо о том, что культура улучшает частичные формы жизни, но в целом оставляет какой-то диссонанс, какое-то пустое и темное место, которое всё чувствуют, но не умеют назвать, — но была в его речи неуверенность и неровность, как у профессора, который не уверен во внимании своей аудитории и чувствует ее тревожное и далекое от лекции настроение. И нечто другое было в его речи: что-то подкрадывающееся, скользящее и беспокойно пытающееся. Он чаще обыкновенного обращался к Павлу:

— Как ты думаешь, Павел? Согласен ли ты, Павел?

И необыкновенно радовался, когда Павел выражал согласие. Он точно нащупывал что-то своими белыми и пухлыми пальцами, которые двигались в такт его речи и угрожающе тянулись к Павлу; к чему-то осторожно и хитро подкрадывался, и те слова, которые он говорил, были словно широкая маскарадная одежда, за которой чувствуется очертание других, еще неизвестных и страшных слов. Павел понимал это и со смутным страхом глядел на спокойно блестящее пенсне, на обручальное кольцо на толстом пальце, на покачивающуюся ногу в блестящем сапоге. Страх нарастал, и Павел уже чувствовал, уже знал, о чем заговорит сейчас отец, и сердце билось у него тихо, но звонко, как будто грудь была пустая. Широкая одежда колыхалась и спадала, и жестокие слова судорожно рвались из-под нее. Вот отец кончил говорить об алкоголиках и закурил папиросу слегка дрожащею рукою.

«Сейчас!» — подумал Павел и весь сжался, как сжимается в своей клетке черный ворон с подбитым крылом, к которому протянулась сквозь дверцу чья-то огромная растопыренная рука.

Сергей Андреич тяжело передохнул и начал:

— Но есть, Павел, нечто более страшное, чем алкоголизм...

«Сейчас!» — подумал Павел.

— ...более ужасное, нежели смертоубийственные войны, более опустошительное, нежели чума и холера...

«Сейчас! Сейчас!» — думал Павел, сжимаясь и чувствуя всё свое тело, как оно чувствуется в ледяной воде.

— ...это разврат! Тебе, Павел, приходилось читать специальные книги по этому интересному вопросу?

«Застрелось!..» — быстро подумал Павел, а вслух спокойно и с приличным интересом сказал:

— Специальных нет, но вообще-то да, кое-что встречалось. Меня, папа, очень интересует этот вопрос.

— Да?.. — Пенсне Сергея Андреича блеснуло. — Да, это страшный вопрос, и я убежден, Павел, что участь всего культурного человечества зависит от того или иного решения его. Действительно... Вырождение целых поколений, даже целых стран; психические расстройства со всеми ужасами безумия и маразма... Так вот... И наконец бесчисленные болезни, разрушающие тело и даже душу. Ты, Павел, даже представить себе не можешь, что это за скверная штука такая болезнь. Один мой товарищ по университету — он пошел потом в военно-юридическую академию, некто Скворцов, Александр Петрович, — заболел, будучи на втором курсе, и даже несерьезно заболел, но так испугался, что вылил на себя бутылку керосину и зажег. Насилу спасли.

— Он теперь жив, папа?

— Конечно, жив, но страшно обезображен. Так вот... Профессор Берг в своем капитальном труде приводит поразительные статистические данные...

Они сидели и разговаривали спокойно, как два хороших знакомых, попавших на очень интересную тему. Павел выражал на лице изумление и ужас, вставлял вопросы и изредка восклицал: «Черт знает, что такое! Да неужели твоя статистика не врет?» И внутри его было так мертвенно-спокойно, как будто не живое сердце билось в его груди, как будто не кровь переливалась в его венах, а весь он был выкован из одного куска холодного и безучастного железа. То, что он думал сам о грозном значении своей болезни и своего падения, грозно подтверждалось книгами, в которые он верил, умными иностранными словами и цифрами, непоколебимыми и твердыми, как смерть. Кто-то большой, умный и всезнающий говорит со стороны об его гибели, и в спокойном бесстрастии его слов было что-то фатальное, не оставлявшее надежд жалкому человеку.

Был весел и Сергей Андреич: смеялся, закрулял слова и жесты, самодовольно помахивал рукою — и со смятением чувствовал, что в правде его слов таится страшная и неуловимая ложь. С подавляемою злобою он поглядывал на развалившегося Павла, и ему страшно хотелось, чтобы это был не хороший знакомый, с которым так легко говорится, а сын; чтобы были слезы, был крик, были упреки, но не эта спокойная и фальшивая беседа. Сын опять ускользал от него, и не к чему было придраться, чтобы накричать на него, затопать ногами, даже, быть может, ударить его, но найти что-то нужное, без чего нельзя жить. «Это

полезно, то, что я говорю: я предостерегаю его», — успокаивал себя Сергей Андреич; но рука его с жадным нетерпением тянулась к боковому карману, где в бумажнике, рядом с пятидесятирублевой бумажкой, лежал смятый и расправленный рисунок. «Сейчас спрошу, и всё кончится», — думал он.

Но тут вошла мать Павла, полная, красивая женщина, с нагудренным лицом и глазами, как у Лилечки: серыми и наивными. Она только что приехала, и щеки и нос ее от холода краснели.

— Ужасная погода! — сказала она. — Опять туман, ничего не видно. Ефим чуть не сбил кого-то на углу.

— Так ты говоришь, семьдесят процентов? — спрашивал Павел отца.

— Да, семьдесят два процента. Ну, как у Соколовых? — спросил Сергей Андреич жену.

— Ничего, как всегда. Скучают. Анечка слегка больна. Завтра вечером хотят к нам. Анатолий Иванович приехал, тебе кланяется.

Она довольно оглядела их веселые лица, дружественные позы и потрепала сына по щеке; а он, как всегда, поймал на лету ее руку и поцеловал. Он любил мать, когда видел ее; а когда ее не было, то совершенно забывал об ее существовании. И так относились к ней всё, родные и знакомые, и если бы она умерла, то всё поплакали бы о ней и тотчас бы забыли — всю забыли, начиная с красивого лица, кончая именем. И писем она никогда не получала.

— Болтали? — весело оглядывала она отца и сына. — Ну я очень рада. А то как неприятно, когда отец с сыном дуются. Точно «отцы и дети». И обедню ему простил?

— Это от тумана... — улыбнулись Сергей Андреич и Павел.

— Да, ужасная погода! Точно всё облака свалились на землю. Я говорю Ефиму: «Пожалуйста, тише!» Он говорит: «Хорошо, барыня», — и гонит. Где же Лилечка? Лилечка! Зовите ее обедать! Господа отцы и дети, в столовую!

Сергей Андреич попросил:

— Одну минуту. Мы сейчас.

— Да ведь уже семь...

— Да, да. Подавайте! Мы сейчас.

Юлия Петровна вышла, и Сергей Андреич сделал шаг к сыну. Так же невольно Павел шагнул вперед и угрюмо спросил:

— Что?

Теперь они стояли друг против друга, открыто и прямо, и всё, что говорилось раньше, куда-то ушло, чтобы больше не вернуться: профессор Берг, статистика, семьдесят два процента.

— Павел!.. Павлуша! Мне Лилечка сказала, что ты чем-то расстроен. И вообще я замечаю, что ты в последнее время изменился. Нет ли у тебя неприятностей в училище?

— Нет. Ничего со мною.

Сергею Андреичу хотелось сказать: «Сын мой!» — но показалось неловко и искусственно, и он сказал:

— Мой друг!..

Павел молчал и, заложив руки в карманы, глядел в сторону. Сергей Андреич покраснел, дрожащею рукою поправил пенсне и вынул бумажник. Брезгливо, двумя пальцами он вытащил смятый и расправленный рисунок и молча протянул его к Павлу.

— Что это? — спросил Павел.

— Посмотри!

Через плечо, не вынимая рук из карманов, Павел взглянул. Бумажка плясала в пухлой и белой руке Сергея Андреича, но Павел узнал ее и весь мгновенно загорелся страшным ощущением стыда. В ушах его что-то загрохотало, как тысячи камней, падающих с горы; глаза его точно опалил огонь, и он не мог ни отвести взгляда от лица Сергея Андреича, ни закрыть глаза.

— Это ты? — откуда-то издали спросил отец.

И с внезапной злобой Павел гордо и открыто ответил:

— Я!..

Сергей Андреич выпустил из пальцев рисунок, и, колыхаясь углами, он тихо опустился на пол. Потом отец повернулся и быстро вышел, и в столовой послышался его громкий и удаляющийся голос: «Обедайте без меня! Мне необходимо съездить по

делу». А Павел подошел к умывальнику и начал лить воду на руки и лицо, не чувствуя ни холода, ни воды.

— Замучили! — шептал он, задыхаясь, пока высокая струя била в глаза и рот.

После обеда, часов в восемь, к Лилечке пришли гимназистки, и Павел слышал из своей комнаты, как они пили в столовой чай. Их было много; они смеялись, и их звонкие, молодые голоса звенели друг о друга, как крылья играющих стрекоз, и было похоже не на комнату в осенний ненастный вечер, а на зеленый луг, когда солнце смотрит на него с полуденного июльского неба. И басисто, как майские жуки, гудели гимназисты. Павел чутко прислушивался к голосам, но среди них не было полнозвучного и искреннего голоса Кати Реймер, и он всё ждал и вздрагивал, когда заговаривал кто-нибудь новый, только что пришедший. Он молил ее прийти, и раз случилось, что он совсем ясно услышал ее голос: «Вот и я!..» — и чуть не заплакал от радости; но голос смешался с другими и, как ни напрягал он слух, больше не повторялся. Потом в столовой стихло, и глухо заговорила прислуга, а из залы принесли звуки рояля. Плавные и легкие, как танец, но странно скорбные и печальные, они кружились над головою Павла, как тихие голоса из какого-то чужого, прекрасного и навеки покинутого мира.

Вбежала Лилечка, розовая от танцев. Чистый лоб ее был влажен, и глаза сияли, и складки коричневого форменного платья будто сохраняли еще следы ритмических колыбаний.

— Павля! Я не сержусь на тебя! — сказала она и быстро горячими губами поцеловала его, обдав волною такого же горячего и чистого дыхания. — Пойдем танцевать! Скорее!

— Не хочется.

— Жаль только, что не всё пришли: Кати нет, Лидочки нет, и Пospelов изволил уйти в театр. Пойдем, Павля, скорее.

— Я никогда не буду танцевать.

— Глупости! Пойдем скорее! Приходи, — я буду ждать.

У дверей ей стало жаль брата, она вернулась, еще раз поцеловала его и, успокоенная, выбежала.

— Скорей, Павля! Скорей!

Павел закрыл дверь и крупными шагами заходил по комнате.

— Не пришла! — говорил он громко. — Не пришла! — повторял он, кружась по комнате. — Не пришла!

В дверь постучали, и послышался самоуверенный и наглый голос Петрова:

— Павел! Отвори!

Павел притаился и задержал дыхание.

— Павел, будет глупить! Отвори! Меня Елизавета Сергеевна послала.

Павел молчал. Петров стукнул еще раз и спокойно сказал:

— Ни у свинья же ты, братец! И молодозелено... Катеньки нет, он и раскис. Дурак!

И Петров смеет говорить своими нечистыми устами: «Катенька!»

Выждав минуту, когда в зале снова заиграли, Павел осторожно выглянул в пустую столовую, прошел ее и возле ванной, где висело кучею ненужное платье, отыскал свою старенькую летнюю шинель. Потом быстро прошел кухню и по черной лестнице спустился во двор, а оттуда на улицу.

Сразу стало так сыро, холодно и неудобно, как будто Павел спустился на дно обширного погреба, где воздух неподвижен и тяжел и по скользким высоким стенам ползают мокрицы. И неожиданным казалось, что в этом свинцовом, пахнущем гнилью тумане продолжает течь какая-то своя, неутомная и бойкая жизнь; она в грохоте невидимых экипажей и в огромных, расплывающихся светлых шарах, в центре которых тускло и ровно горят фонари, она в торопливых, бесформенных контурах, похожих на смьгтые чернильные пятна на серой бумаге, которые вырастают из тумана и опять уходят в него, и часто чувствуются только по тому странному ощущению, которое безошибочно свидетельствует о близком присутствии человека. Кто-то невидимый быстро толкнул Павла и не извинился; задев его локтем, прошла какая-то женщина и близко заглянула ему в лицо. Павел вздрогнул и злобно отшатнулся.

В пустынном переулке, против дома Кати Реймер, он остановился. Он часто ходил сюда и теперь пришел, чтобы показать, как он несчастен и одинок, и как подло поступила Катя Реймер, которая не пришла в минуту смертельной тоски и смертельного ужаса. Сквозь туман слабо просвечивали окна, и в их мутном взгляде была дикая и злая насмешка, будто сидящий за пиришественным столом оплывшими от сытости глазами смотрел на голодного и лениво улыбался. И, захлебываясь гнилым туманом, дрожа от холода в своем стареньком пальтишке, Павел с голодною ненавистью упивался этим взглядом. Он ясно видел Катю Реймер: как она, чистая и невинная, сидит среди чистых людей и улыбается, и читает хорошую книгу, ничего не

знает об улице, в грязи и холоде которой стоит погибающий человек. Она чистая и подлая в своей чистоте; она, быть может, мечтает сейчас о каком-нибудь благородном герое, и если бы вошел к ней Павел и сказал: «Я грязен, я болен, я развратен, и оттого я несчастен, я умираю; поддержи меня!» — она брезгливо отвернулась бы и сказала: «Ступай! Мне жаль тебя, но ты противен мне. Ступай!» И она заплакала бы; чистая и добрая, она заплакала бы... прогоняя. И милостыню своих чистых слез и гордого сожаления она убила бы того, кто просил ее о человеческой любви, которая не оглядывается и не боится грязи.

— Я ненавижу тебя! — шептало странное, бесформенное пятно человека, охваченного туманом и вырванного им из живого мира. — Я ненавижу тебя!

Кто-то прошел мимо Павла, не заметив его. Павел испуганно прижался к мокрой стене и сдвинулся только после того, как шаги умолкли.

— Ненавижу!..

Как в вате, задыхается в тумане голос. Бесформенное пятно человека медленно удаляется, сверкнула около фонаря металлическая пуговица, и всё растаяло, как будто никогда и не было его, а был только мутный и холодный туман.

Нева безнадежно стыла под тяжелым туманом и была молчалива, как мертвая; ни свистка парохода, ни всплеска воды не доносилось с ее широкой и темной поверхности. Павел сел на одной из полукруглых скамеек и прижался спиной к влажному и спокойно-холодному граниту. Его прохватила дрожь, и застывшие пальцы почти не сгибались, и руки онемели в кисти и в локте; но ему было противно идти домой: в музыке и в чуждом веселье было что-то напоминавшее Катю Реймер, нелепое и обидное, как улыбка случайного прохожего на чужих похоронах. В нескольких шагах от Павла в тумане смутно проплывали тени людей; у одного около головы было маленькое огненное пятнышко, очевидно, папироса; на другом, едва видимом, были, вероятно, твердые кожаные калоши и при каждом его шаге стучали: чек-чек! И долго было слышно, как он идет.

Одна тень в нерешительности остановилась; у нее была огромная, не по росту, голова, уродливых и фантастических очертаний, и, когда она двинулась к Павлу, ему стало жутко. Вблизи это оказалось большой шляпой с белыми загнутыми перьями, какие бывают на погребальных колесницах, а сама тень — обыкновенной женщиной. Как и Павел, она дрожала от холода и тщетно прятала большие руки в карманчики драповой короткой кофты; пока она стояла, она была невысокого роста, а когда села возле Павла, то стала почти на голову выше его.

— Молодой красавец, одолжите папироску! — попросила она.

— Извините, молодая красавица, я не курю, — развязно и возбужденно ответил Павел.

Женщина крикливо хихикнула, лякнула от холода зубами и дыхла на Павла запахом вина.

— Пойдемте ко мне, — сказала женщина, и голос у нее был крикливый, как и смех. — Пойдемте! Водочкой меня угостите!

Что-то широкое, клубящееся, быстрое, как падение с горы, открылось теперь перед Павлом, какие-то желтые огни среди колеблющегося мрака, какое-то обещание странного веселья, безумия и слез. А снаружи его пронизывал сырой туман, и локти коченели. И с вежливостью, в которой были вызов, насмешка и слезы смертельного отчаяния, он сказал:

— О божественная! Вы так хотите моих страстных ласк?

Женщине показалось обидно; она сердито отвернулась, лякнула зубами и замолчала, гневно поджав тонкие губы. Ее выгнали из портерной за то, что она не стала пить кислого пива и плеснула из стакана в сидельца; высокие калоши пробились на носках и протекали, и от всего от этого ей хотелось обижаться и кого-нибудь бранить. Павел сбоку видел ее сердитый профиль с коротким носом и широким, мясистым подбородком, и улыбался. Она была как раз как те женщины, что преследовали его, и ему было смешно, и какое-то странное чувство сближало его с ней. И ему нравилось, что она сердится.

Женщина повернулась и резко бросила:

— Ну? Идти так идти, — какого дьявола!

И Павел со смехом ответил:

— Вы правы, сударыня: какого дьявола! Какого дьявола нам с вами не пойти, не выпить водки и не предаться изысканным наслаждениям?

Женщина высвободила руку из карманчика и немного сердито, немного дружески хлопнула его по плечу:

— Мели Емеля — твоя неделя! Ну, я пойду впереди, а вы зади.

— Почему? — удивился Павел. — Почему зади, а не рядом с вами, божественная... — он немного запнулся: — Катя?

— Меня зовут Манечкой. Оттого, что рядом для вас стыдно.

Павел подхватил ее за руку и повлек, и плечо женщины неловко забило об его грудь. Она смеялась и шла не в ногу, и теперь

видно было, что она слегка пьяна. У ворот одного дома она высвободила руку и, взяв у Павла рубль, пошла добывать у дворника водки.

— Вы же поскорее, Катенька! — попросил Павел, теряя глазами ее контур в черном и мглистом отверстии ворот. Издалека донеслось:

— Манечка, а не Катя!

Горел фонарь, и к его холодному, влажному столбу прижался щекою Павел и закрыл глаза. Лицо его было неподвижно, как у слепого, и внутри было так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговоренного к смерти, когда уже завязаны глаза, и смолк вокруг него звук суетливых шагов по звонкому дереву, и в грозном молчании уже открылась наполовину великая тайна смерти. И, как зловещая дробь барабанов, глухо и далеко прозвучал голос:

— Вот вы где? А я вас искала-искала... За кого ни хвачусь, всё не тот. Уж думала, что вы ушли, и сама хотела уйтить.

Павел напрягся, что-то сбросил с себя и выбросил веселый и громкий вопрос:

— А водочки-то? Самое главное, водочки! Ибо что такое мы с вами, Катенька, без водочки?

— А как вас звать-то? Хотела по имени покликать, да вы не сказали.

— Меня зовут, Катечка, немного странно: Процентом меня зовут. Процент. Вы можете звать меня Процентик. Так выходит ласковее, и наши интимные отношения это допускают, — говорил Павел, увлекая женщину.

— Такого имени нету. Так только собак зовут.

— Что вы, Катечка! Меня даже отец так зовет: Процентик, Процентик! Клянусь вам профессором Бергом и святой статистикой!

Двигался туман и огни, и опять о грудь Павла бились плечи женщины и перед глазами болталось большое загнутое перо, какие бывают на погребальных колесницах; потом что-то черное, гнилое, скверно пахнущее охватило их, и качались какие-то ступеньки, вверх и опять вниз. В одном месте Павел чуть не упал, и женщина поддержала его. Потом какая-то душная комната, в которой сильно пахло сапожным товаром и кислыми щами, горела лампада, и за ситцевой занавеской кто-то отрывисто и сердито храпел.

— Тише! — шептала женщина, ведя Павла за руку. — Тут хозяин спит, дьявол, сапожник, пропащая душа!

И Павлу было страшно этого сапожника, который где-то за занавеской храпел так отрывисто и сердито, и он осторожно шагал тяжелыми мокрыми калошами. Потом сразу глубокая тьма, звук снимаемого стекла и сразу яркий, ослепительный свет маленькой лампочки, висевшей на стене. Внизу под лампою был столик, и на нем лежали: гребешок с тонкими волосами, запугавшимися между зубьями, засохшие куски хлеба, облепленный хлебным мякишем большой нож и глубокая тарелка, на дне которой, в слое желтого подсолнечного масла, лежали кружки картофеля и крошенный лук. И к этому столику приковалось всё внимание Павла.

— Вот и дома! — сказала Манечка. — Раздевайтесь!

Они сидели, смеялись и пили, и Павел одною рукою обнимал полуголую женщину: у самых глаз его было толстое, белое плечо с полоской грязноватой рубашки и сломанной пуговицей, и он жадно целовал его, присасываясь влажными и горячими губами. Потом целовал лицо и, странно, не мог ни рассмотреть его как следует, ни запомнить. Пока смотрел на него, оно казалось давно знакомым и известным, до каждой черточки, до маленького прыщика на виске; но когда отвертывался, то сразу и совершенно забывал, будто не хотела душа принимать этого образа и с силою выгалакивала его.

— Одно скажу, — говорила женщина, стараясь снять с картошки прилипший к ней длинный волос и изредка равнодушно целуя Павла в щеку маслянистыми губами, — одно скажу: кислого пива пить я не стану. Давай, кому хочешь, а я не стану. Стерва я, это верно, а кислого пива лакать не стану. И всем скажу открыто, хоть под барабаном: не стану!

— Давайте петь, Катечка! — просил Павел.

— А если тебе не нравится, что я тебе в харю выплеснула, то пожалуйста в участок, а бить себя я не позволю. Характер у меня гордый, и таких-то, как ты, может, тысячу видала, да и то не испугалась, — обращалась женщина к обидевшему ее сидельцу.

— Бросьте, Катечка, забудьте! — упрашивал Павел. — Я верю, вы горды, как испанская королева, и прекрасно. Давайте петь! Хорошие песни, хорошие песни!

— И не Катечка я, а Манечка. А петь нельзя: хозяин у меня дьявол, сапожник, пропащая душа, — не велит.

— Всё равно, Катечка ли, Манечка ли. Ей-Богу, всё равно, — это говорю тебе я, Павел Рыбаков, пьяница и развратник. Ведь ты меня любишь, моя гордая королева?

— Люблю. Только я не позволю называть меня Катечкой, — упрямо твердила женщина.

— Ну вот! — качнул головою Павел. — Будем петь! Будем петь хорошие песни, какие поют они. Эх, хорошую я знаю песню! Но ее так петь нельзя. Закрой глаза, Катенька, ты закрой глаза, закрой их и вообрази, будто ты в лесу, и темная-темная ночь...

— Не люблю я в лесу. Про какой ты мне лес говоришь? Говори так, а не про лес! Ну его к черту! Давай выпьем лучше, и не расстраивай ты меня, — не люблю я этого... — утрюмо говорила Манечка, наливая и расплескивая водку.

У нее, очевидно, была одышка, и дышала она тяжело и трудно, как будто плыла по глубокой воде. И губы у нее стали тоньше и слегка посинели.

— Темная-темная ночь! — продолжал Павел с закрытыми глазами. — И будто идуг, и ты идешь, и кто-то красиво поет... Постой, как это? «Ты мне сказала: да, — я люблю тебя!..» Нет, не могу я, не умею петь.

— Не ори, хозяина разбудишь. Какого дьявола!

— Нет, не умею я петь. Не умею! — с отчаянием сказал Павел и взялся за голову.

Огненные ленты свивались и развивались перед его закрытыми глазами, клубились в причудливых и страшных узорах, и было широко, как в поле, и душно, как на дне узкой и глубокой ямы. Манечка через плечо презрительно смотрела на него и говорила:

— Пей, какого дьявола!

— Да, я люблю тебя... Да, я люблю тебя... Нет, не умею!

Он широко открыл глаза и скрытым огнем их опалил лицо женщины.

— Ведь есть же у тебя сердце? Ведь есть, Катечка? Ну так дай мне твою руку! Дай! — Он улыбнулся сквозь наворачившиеся слезы и горячими губами припал к враждебно сопротивлявшейся руке.

— Перестань дурить! — гневно сказала женщина и выдернула руку. — Расстроился, слонтяй! Спать так спать, а не то!..

— Катечка! Катечка! — шептал он умоляюще, и слезы мешали ему видеть сонное и злое лицо, которое с отвращением уставилось на него. — Катечка, голубка моя миленькая, пожалей меня, пожалуйста! Я так несчастен, и ничего, ничего нет у меня. Господи, да пожалей же ты меня, Катечка!

Женщина резко оттолкнула его и, шатаясь, встала.

— Убирайся к дьяволу! — крикнула она, задыхаясь. — Ненавижу!.. Нализался как сапожник и ломается... Катечка! Катечка! — передразнила она, поджимая тонкие синеватые губы. — Знаю я, какую тебе Катечку нужно. Ну и убирайся к ней! Лижется, а сам: Катечка, Катечка! У-у, мальчишка, щенок, кукольное рыло! Тебя к женщине подпускать не стоит, а тоже: Катечка, Катечка!

Павел, опустив голову и покачивая ею, что-то шептал, и стриженный затылок его тихо вздрагивал.

— Слышишь, что ли? — крикнула женщина.

Павел взглянул на нее мокрыми и незрячими глазами и снова закачался с равномерностью человека, у которого болят зубы, — вправо, влево. Презрительно фыркнув, женщина подошла к кровати и стала опрашивать ее. На ходу с нее соскочила бумазейная полосатая юбка, и она ногами отбросила ее.

— Катечка! Катечка! — говорила она, сердито комкая подушку. — Ну и иди к Катечке! А меня крестили Манечкой, и таких щенков, как ты, я, может, тысячу видала, да и то не испугалась. Эка! Думает, рубль дал, так я ему всякие фокусы показывать буду. У меня, может, у самой три рубля в шкапулке лежат. Ну иди спать, что ли!

Она легла поверх одеяла и с ненавистью глядела на Павла, на его стриженный и крутой затылок, вздрагивавший от плача.

— Ух! Надоели вы мне всё, черти поганые! Измучили вы меня! Чего реवेशь? Маменьки боишься? — говорила она с ленивой и злою насмешкою. — Драть мальчика будут? Боишься, а сладенькое любишь. Любишь... Да. Знаю я вас, Процент, дьяволов. Свое имя назвать-то стыдно, он и выдумывает. Процент! Чисто собака. А к Катечке своей сопливой пойдет, так уж, конечно, Васечкой велит звать: Васечка, душечка! А он ей: Катечка, ангелочек! Знаю я, хорош мальчик! Тоже — ручку позвольте поцеловать, а как этой самой ручкой да тебе по харе! Не смейся, щенок, не смейся!

Павел молчал и тихо вздрагивал.

— Ну иди, что ли, спать, тебе говорю! А то прогоню, Бог свят, прогоню! Мне двух целковых не жалко, а издеваться над собой я не позволю. Слышишь, раздевайся! Думает, два рубля дал, так всю женщину и купил. Эка, царь какой выискался.

Павел медленно расстегнул куртку и стал снимать.

— Не понимаешь ты... — тихо и не глядя, проронил он.

— Вот как! — злобно крикнула женщина. — Такая дура, что ничего и понять не могу! А если я к тебе подойду да по харе дам?

Из-за перегородки хриплый и раздраженный бас грозно окрикнул:

— Машка! Опять, сатана, за свое взялась? Не колобродь, а то живо у меня!..

— Тише ты, дрянь! — прошептал Павел, бледнея.

— Я дрянь? — сипела женщина, приподнимаясь.

— Ну ладно, ладно, ложись! — примирительно сказал Павел, не сводя горящих глаз с ее голого тела. — Я сейчас, сейчас...

— Я дрянь? — повторяла женщина, и задышалась, и брызгала слюною.

— Ну будет, будет! — упрашивал Павел. Пальцы его дрожали и не находили пуговиц; он видел только тело — то страшное и непонятное в своей власти тело женщины, которое он видел в жгучих сновидениях своих, которое было отвратительно до страстного желания топтать его ногами и обаятельно, как вода в луже для жаждущего. — Ну будет! — повторил он. — Я пошутил...

— Убирайся вон! — решительно заявила женщина, отмахиваясь рукою. — Вон! Вон! Щенок!

Они встретились взорами, и взоры их пылали открытой ненавистью, такой жгучей, такой глубокой, так полно исчерпывающей их больные души, как будто не в случайной встрече сошлись они, а всю жизнь были врагами, всю жизнь искали друг друга и нашли — ив дикой радости бояться поверить себе, что нашли. И Павлу стало страшно. Он опустил глаза и пролепетал:

— Послушай же, Манечка. Пойми же наконец!..

— Ага! — обрадовалась женщина, оскалив широкие белые зубы. — Ага! Теперь Манечка стала! Вон! Вон!

Она соскочила с постели и, шатаясь, показывая Павлу свой толстый, волосатый затылок, начала поднимать его куртку.

— Вон! Вон!

— Слышишь ты, дьявол! — крикнул бешено Павел.

И тут произошло что-то неожиданное и дикое: пьяная и полуголая женщина, красная от гнева, бросила куртку, размахнулась и ударила Павла по щеке. Павел схватил ее за рубашку, разорвал, и оба они клубком покатались по полу. Они катались, сшибая стулья и волоча за собою сдернутое одеяло, и казались странным и слитным существом, у которого четыре руки и четыре ноги, бешено цеплявшиеся и душившие друг друга. Острые ногти царапали лицо Павла и вдавливались в глаза; одну секунду он видел над собой разъяренное лицо с дикими глазами, и оно было красно, как кровь; и со всею силою он сжимал чье-то горло. В следующую секунду он оторвался от женщины и вскочил на ноги.

— Собака! — крикнул он, вытирая окровавленное лицо. А в дверь уже ломились, и кто-то вопил:

— Отворите! Дьяволы, анафемы!

Но женщина опять сзади накинулась на Павла, сбила его с ног, и они снова завертелись и закружились по полу, молча, задыхаясь, бессильные кричать от бешеной ярости. Они поднялись, упали и опять поднялись. Павел повалил женщину на стол, и под тяжелым телом ее хрустнула тарелка, а возле руки Павла звякнул длинный нож, облепленный хлебным мякишем. Левою рукою Павел схватил его, едва удержал и боком куда-то сунул. И тонкое лезвие согнулось. Он вторично сунул нож, и руки женщины дрогнули и сразу обмякли, как тряпки. Почти выбросив глаза из орбит, она закричала в лицо Павлу хрипло и пронзительно, всё время на одной ноте, как кричат животные, когда их убивают:

— А-а-а-а!

— Молчи! — прохрипел Павел, и еще раз сунул куда-то нож, и еще. При каждом ударе женщина дергалась, как игрушечный клоун на нитке, и шире открывала рот с широкими и белыми зубами, среди которых вздувались пузырьки кровавой пены. Она уже молчала, но Павлу всё еще слышался ее пронзительный, ужасный вой, и он хрипел:

— Молчи!

И, переложив нож из левой руки, мокрой и скользкой, в правую, ударил сверху раз, и еще раз.

— Молчи!

Тело грузно свалилось со стола и грузно стукнулось волосатым затылком. Павел наклонился и посмотрел на него: голый высокий живот еще вздымался, и Павел ткнул в него ножом, как в пузырь, из которого нужно выпустить воздух. Потом Павел выпрямился и с ножом в руке, весь красный, как мясник, с разорванной в драке губою, обернулся к двери.

Он смутно ожидал крика, шума, бешеных возгласов, гнева и мести, — и странное безмолвие поразило его. Ни звука не было, ни вздоха, ни шороха. В часах качался маятник, и не было слышно его движения; с острия ножа спадали на пол густые капли крови, — и они должны были звучать и не звучали. Как будто внезапно оборвались и умерли всё звуки в мире и всё его живые голоса.

И что-то загадочное и страшное происходило с закрытой дверью. Она безмолвно надувалась, как только что проколотый живот, дрожала в безмолвной агонии и опадала. И снова надувалась она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым разом темная щель вверху становилась шире и зловеще.

Непостижимый ужас был в этом немом и грозном натиске, — ужас и страшная сила, будто весь чуждый, непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери.

Торопливо и сосредоточенно Павел отбросил с груди липкие лохмотья рубашки и ударил себя ножом в бок, против сердца. Несколько секунд он стоял ещё на ногах и большими блестящими глазами смотрел на судорожно вздувавшуюся дверь. Потом он согнулся, присел на корточки, как для чехарды, и повалился…

В ту ночь, до самого рассвета, задыхался в свинцовом тумане холодный город. Безлюдны и молчаливы были его глубокие улицы, и в саду, опустошенном осенью, тихо умирали на сломанных стеблях одинокие, печальные цветы.

Примечания

- ↑ Над этим рассказом Андреев работал летом 1902 года на подмосковной даче в Царицыно. 21 июня 1902 года в «Курьере» (№ 169) в отделе «Маленькая хроника» появилось сообщение об убийстве молодым человеком двух проституток. Неустановленный автор писал в этой связи: «Это не простое убийство, это не простое помешательство. Это громадная трагедия, тайная, глубокая и неясная…» Рассказ «В тумане» и стал ответом на предложенную тему: раскрытие тайны «не простого» убийства.
- ↑ Впервые — в «Журнале для всех», 1902, декабрь, № 12. Затем — в книге *Леонид Андреев В тумане*. — СПб.: Книгоизд.— во Освобождение, 1909. — 62 с. ([РГБ](#))

Это произведение перешло в общественное достояние.

- Произведение написано автором, умершим более семидесяти лет назад, и опубликовано прижизненно, либо посмертно, но с момента публикации также прошло более семидесяти лет.

Источник — [https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=В_тумане_\(Андреев\)&oldid=2234162](https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=В_тумане_(Андреев)&oldid=2234162)»